



Не договорившись (как им свойственно), редакторы предпочли представить каждый свой собственный текст — точнее, как выразился один из нас, «две отдельные половинки», каждую со своим собственным авторским «я». Думаем, что опознать его (ego) нетрудно.

«Это маленькое предисловие — но от чистого сэрдца...»

1. Байбурин и мы (двойственное число)

Я мог бы с полным основанием сказать — если бы мог читать и воспринимать Байбурина объективно и отстраненно, — что Байбурин, несомненно, является одним из самых значительных, а в моей иерархии — самым значительным из этнографов современной России. Все те, кто мог бы претендовать на то, чтобы «разделить» с ним это место (я имею в виду значение этих слов в спортивной терминологии), в гораздо меньшей степени являются собственно этнографами; мы все (включая, между прочим, и Байбурина) начинали с фольклора, и у многих, даже перешедших в этнографию, этот компонент остался доминирующим или, по крайней мере, равноправным (приходит на память такой пример, как замечательная книга Е.С. Новик). Однако такая оценка для меня, в самом деле, несколько абстрактна: дело в том, что мне вообще трудно как-то оценивать работу и работы Байбурина. Признаюсь, что для меня читать его работы в готовом виде, типографским шрифтом — занятие странное и отчасти неприятное: рука все время тянется править. Ну как будешь править книжный текст?! Я в

общем не воспринимаю байбури́нский текст как нечто полностью обособленное от меня, хотя последние годы, даже десятилетия, мы не так уж часто пишем вместе (и к основным идеям его книг я, в общем, не имею отношения).

Поэтому воздержусь от оценок. Отчасти их заменяет (или о них свидетельствует) этот сборник, его содержание, его участники.

Писать о том, как мы работаем (когда мы с ним работаем вместе), тоже несколько нелепо (все-таки не Ильф и Петров). Но несколько мемуарных мелочей из самого раннего периода, может быть, будут здесь уместны.

В начале февраля 1969 года я был на каникулах в Таллине (тогда еще не приобрел второго *н*). Каникулы кончались, но тут Э. Либман, возвращавшийся после своих каникул в Тартуский университет, предложил мне съездить с ним на один день, познакомиться с Байбуриным (я уже слышал рассказы о нем, в частности от Е. Рабинович, и песни Тани Левченко). Каникулы кончались в четверг, и можно было бы задержаться до понедельника и даже позже, но в пятницу была военная кафедра, которую почему-то все боялись пропускать. Однако тут же за столом удалось найти способ добыть для меня медицинскую справку, и мы поехали.

Либман привел меня в комнату в общежитии на ул. Ленинград¹, где жили Суперфин, Байбури́н, Белоусов и еще кто-то. Поначалу в комнате не было никого, кроме четвертого (фольклорного) тома Собрания сочинений Якобсона, виденного мною впервые. (Впоследствии именно этот экземпляр, подаренный автором Суперфину, оказался в моей библиотеке: Суперфин уже в 70-е годы отдал мне его в обмен на что-то, так и не востребованное, и окончательно подарил, уезжая в эмиграцию; другой московский экземпляр при моем посредничестве купил Байбури́н в 1972 году.) Потом появился хозяин тома, причем — человек, почти никогда не пивший, — он появился пьяным (как оказалось, он пытался бомбардировать апельсинами Студенческое кафе). Кто-то из обитателей еще не вернулся с каникул, так что я остался ночевать в этой комнате (впоследствии на конференциях и во время многочисленных спонтанных приездов в Тарту вопрос: где в общежитии есть сегодня свободная койка — всплывал вновь и вновь). Мы разговаривали с Суперфином об инцестном сюжете, которым он занимался двумя-тремя годами раньше,² и легли спать, когда никто из остальных обитателей комнаты еще не вернулся.

¹ В Тарту бытовала переделка песни «А шарабан мой — американка», в которой перечислялись все общежития, в частности: «Продам я книги, продам тетради. / И поселюсь я на Ленинград!».

² Кстати, в том же 1969 году, когда Суперфин уже окончательно покидал университет, он отдал мне и текст своей курсовой работы об инцесте, и большую папку подготовительных материалов к ней. Через год или два Байбури́н написал мне, что администрация требует найти курсовую, и я вернул ее, о

Байбурина, таким образом, я увидел только утром, он шел на занятия, а я вставать еще не собирался, так что мы назначили встречу днем под часами (т. е. в холле университета). Суперфин, наоборот, еще спал, когда я уходил; я по наивности оставил ему записку с предложением опохмелиться и отправился в город (не помню, объяснили мне дорогу или нашелся провожатый). За время, прошедшее до нашей встречи, я успел найти какие-то кафе и главное — дядю Мишу (хозяина — и эпонима — небольшого разлива совсем близко от университета). У него, насколько я помню, пили в основном вино, и для человека, приехавшего из России, вопрос: «холодного?» звучал как «Декларация независимости», «Соловиный сад» и «Чакона» вместе взятые.³

Встретившись с Байбуриным, мы пошли обедать в *Студкафе* (то самое, которое накануне бомбардировал Суперфин). Тогда я впервые услышал слово «карбонад» — не разновидность буженины из свиной вырезки, как употребляют это слово в России, а свиная отбивная). Ах, много, много карбонадов... (перифразируя Андрея Белого) предстояло съесть вместе или порознь за последующие годы. Впоследствии выяснилось, что Алик (далее буду его называть так, как называл всю жизнь) хороший партнер для обеда, но ужасный для завтрака. Я всегда любил плотные завтраки, и сидеть за столом с человеком, который всерьез решает проблему: взять взбитые сливки *или кофе*⁴ — было по меньшей мере неудобно. Помню, как в 1970 году мы с Никитой Охотиным (уже не учившимся в Тарту) приехали на попутках из Таллина и очень голодные пришли в Студкафе. Дело было в общем утром, время для завтрака, и мы шли втроем по Студкафе: мы с Никитой несли многоэтажные подносы, заставленные едой, а Алик — чашку кофе.⁵

чем жалею, поскольку с тех пор она пропала. Не исключаю, что поиски были через третьи руки инспирированы властями, хотя — что им до инцеста? Может быть, все же стоит поискать ее в архиве Тартуского КГБ. Работа была очень интересной, насколько помню, и для того времени редкой по учету европейского фольклора и фольклористики (скажем, почти не встречал с тех пор ссылок на книгу Ван Геннепа о легендах: *A. Van Gennepe. La formation des légendes. Paris, 1910*). Следующая его курсовая носила изящное название, отдававшее немецким романтизмом: «Архивные фрагменты».

³ Алкогольная тема играет немалую роль в этой мемуарной заметке: о чем же еще вспоминать в нашей пожилой трезвости! Есть, конечно, еще одна тема, но она явно не годится для мемуаров.

⁴ Язва желудка еще скрывалась в очень отдаленном будущем, хотя мне она представляется не скрытой причиной, а прямым следствием таких гастрономических привычек.

⁵ В узусе русского повествовательного языка этот предмет называется «чашечка кофе», однако для меня это словосочетание сделалось запретным в том же 1969 году. Я был на практике в Пушкинском заповеднике в Пушкинских же (изначально Святых) горах и водил экскурсии в Святогорском монастыре. Со мной работал молодой человек по фамилии Суетов (я, конечно, называл его за глаза Суета-Суетов), и я как-то услышал его рассказ о похоронах Пушкина: он говорил, что крепостной слуга Пушкина Никита Козлов не сходил

Кажется, перед обедом — тогда в первый день, в феврале 1969 года — Алик привел меня на Кафедру и представил Ю.М. Лотману. Других тартуских мэтров я узнал уже в следующие приезды.

После обеда мы купили маленькую, почему-то «Старки»,⁶ и пошли в какую-то университетскую аудиторию, где выпили ее, обсуждая какие-то общие фольклорные вопросы. Помню, что рисовал на доске, может быть, схему свадебного обряда, хотя, кажется, заниматься свадьбой я начал немножко позже. Помню, кроме того, что окна аудитории были напротив окон кафедры русской литературы, и Алик, когда вспоминал, убирал нашу маленькую так, чтобы ее заслоняла от окна кафедра (пюпитр), как ни нелепа эта омонимия.

Вечером мы пошли в гости, куда меня не звали, но куда должен был пойти Алик, — а именно в дом Б.М. Гаспарова и его тогдашней жены Элочки. Бориса в этот день не было в Тарту, и мы познакомились позже, а у Элочки «первым гостем» был Я.А. Габович, профессор математики в Тартуской сельскохозяйственной академии, который, овдовев, открыл свой дом для студентов-русистов. Мы уже были знакомы по его короткому приезду в Ленинград. Габович — автор удивительных песен, которые стал сравнительно недавно собирать его внук (и, надеюсь, когда-нибудь их издаст), между прочим, изобрел замечательную карточную игру «королевский апенддаун» — соединение правил апенддауна и кинга; когда Алик переехал в Ленинград (в 1972 г.), мы какое-то время продолжали в нее играть. Ночью, проведив еще одну гаспаровскую гостью на вокзал, мы долго ждали такси около вокзала. Напомню, что в Тарту мало есть расстояний, которые нельзя пройти за полчаса (вернее, тогда было мало, так как университетские сотрудники стали селиться в новостройках несколько позже), тем не менее мы стойко ждали такси, заполняя время (и защищаясь от холода) тем, что играли в футбол доньшком от разбитой маленькой (не нашей).

В 1969 году я приезжал в Тарту еще два раза, на студенческий фольклорный симпозиум и на регулярную студенческую конференцию. С конференции мы ехали вместе с Суперфином, который на несколько месяцев уехал в Ленинград. А через несколько недель приехал Алик. Из моих знакомых тогда мало кто располагал свободными комнатами, я поселил его у Левы Васильева и Беллы Улановской (они жили тогда на шоссе Революции, оба были талантливыми людьми: он поэт, она прозаик; оба рано умерли: Лева в 1997 году, Белла в 2005).

с дровен, на которых стоял гроб, и (цитирую дословно) «ни в одной из харчевен, где они останавливались, он не выпил даже чашечки кофе» (кофе, естественно, был с твердым -ф-, но это уже мелочи).

⁶ Не знаю, какое из этих слов требует теперь, для младшего поколения, комментария: *маленькая* (бутылка объемом 0,25 л.) или *Старка* (сорт цветной водки).

На студенческой конференции официальный заключительный банкет (в том же Студкафе) был совмещен с днем рождения А.Б. Рогинского. Алик вдруг пришел откуда-то, и оказалось, что по окончании конференции или незадолго до него проводится заседание Студенческого научного общества, где присуждается медаль за лучший доклад — но только среди членов СНО, т. е. студентов Тартуского университета. Алик уже не первый год получал эту медаль и, придя на банкет, пытался играть ею в пристеночек. Лотман спросил у него, остается ли медаль у награжденного или надо ее каждый раз возвращать — и в объяснение своего вопроса рассказал о статусе ордена Подвязки, который по смерти владельца не может передаваться по наследству, а должен быть возвращен в капитул. Я тихо сказал сидевшей рядом Анн Мальтс, что знаю более близкий аналог: переходящее Красное знамя.

Как-то, весной 1969 или — более вероятно — весной 1970 (точно помню, что мы стояли «под часами»: то ли был перерыв между докладами, то ли мы собирались куда-то идти), Алик спросил меня: «А что ты думаешь про свадебное величание *князь и княгиня*?» Я сразу ответил, хотя, признаюсь, прежде ничего об этом не думал, то есть никогда не задумывался. Я вспоминаю это, потому что тогда у нас (во всяком случае, у меня) было именно такое ощущение: что где-то «внутри», «про себя» мы всё уже знаем (не всё на свете, конечно, но, скажем, семантику свадебного обряда — знаем несомненно), надо только извлечь это скрытое знание на поверхность. Надо задать (себе, друг другу) правильный вопрос, и логика наших представлений сама даст ответ. Кажется, мы даже говорили об этом между собой после этого случая. Не знаю, верно ли было это представление о своих собственных знаниях, но оно было отголоском, «отростком» общего представления (по-моему, верного) о тогдашнем состоянии структурализма — эпохи Sturm und Drang'a, как говорил В.Н. Топоров, да, несомненно, не только он.

Тогда же мы решили вместе написать об этом статью, и первый ее набросок я сделал той же весной, почти сразу по приезде домой. Потом мы переписывали ее раз десять, ни одну совместную статью мы не писали так долго. Один раз Алик даже отдал ее перепечатать набело для ротاپринта (что стоило довольно дорого), но, когда я приехал в Тарту, мы стали прямо по этому беловому тексту править снова. Последний раз мы переписывали ее в 1975 году, отдавая в студенческий сборник (хотя сами уже не были студентами), — по тем временам, т. е. в том возрасте, 5 лет был очень долгий срок (это сейчас я давно уже привык к тому, что у меня всё еще не дописаны работы, начатые 20 и 30 лет назад). Следующую статью (первую опубликованную совместно) мы быстро написали летом 1971 года для сборника к 50-летию Ю.М. Лотмана.

Весной 1969 мы, кажется, были еще «на вы» — но точно уже были «на ты», когда в августе 1969 года я приехал на день рождения

Габовича. Мы ходили тогда по Тарту втроем, с Аликом и Э. Либманом. Как симметричный эпизод, наверное, уместно было бы вставить сюда воспоминание о том, как осенью 1980 года мы ехали с Аликом вдвоем на похороны Габовича. Я узнал о его смерти довольно поздно вечером, позвонил Алику, который уже знал; он сказал, что поедет на машине и хочет выехать рано утром. Я приехал к нему ночевать, и рано утром мы выехали — настолько рано, что часть пути я просто спал на заднем сидении.

Вспоминать эпизоды нашего ленинградского/петербургского жителя⁷ было бы странно, все это кажется слишком недавним, а главное — слишком актуальным: те же люди вокруг, те же здания; книги, которые мы дарили друг другу, стоят на полках. Позволю себе вспомнить в этой связи, как мы приехали к Алику после его кандидатской защиты; пока делались последние усовершенствования на праздничном столе, мы ждали в его кабинете. Б.Н. Путилов показал мне на книгу О.М. Фрейденберг (тогда еще единственную — «Поэтика сюжета и жанра») и спросил: «Не завидуете?» Я честно ответил: «Нет, потому что я ему ее подарил» (у моих родителей с 30-х годов сохранились 2 экземпляра этой книги). Из исторических подробностей прошлого периода нашей жизни могу только сказать, что Алик всегда был готов давать деньги на политзаключенных и подписывать, что надо (не помню, пришлось ли ему реально что-то подписывать, мне, например, не пришлось). Вспоминаю несколько неуклюжий эпизод, как в июне 1973 года я, прилетев из Москвы, после ареста Суперфина, торопился на Московский вокзал, чтобы успеть перехватить Алика, уезжавшего в фольклорную экспедицию под руководством Г.Г. Шаповаловой, и предупредить его о некоторых деталях на случай допроса, так и не последовавшего.

Хочется вспомнить еще один эпизод, относящийся к Тартуской жизни Алика. Еще будучи студентом, он стал ездить в фольклорные экспедиции в качестве руководителя. В августе 1971 года он вместе с Е.В. Душечкиной (тогда просто Леной) привез группу в Ленинград, вернее в то, что и сейчас называется Ленинградской областью. Так как, в отличие от него, я никогда в экспедициях не был, то решил поехать с ними. Ехали они в Подпорожье, и мы собирались, распределив студентов по деревням (предполагалось — по двум) и по домам, поехать в какую-нибудь деревню подальше и тоже заняться сбором фольклора. Студентов мы распределили и, кажется, даже провели одну ночь в Подпорожье, но на следующий день мы поехали в какие-то деревни и попытались снять жилье —

⁷ За пределами Петербурга я видел Алика несколько раз в Москве (хотя наши совместные доклады в Москве, по разным причинам, читал без него), разумеется, в Тарту (но никогда в Таллине), в Петрозаводске (см. ниже) и однажды в Париже, но его парижский облик пусть описывает Поздняков или Конт.

безуспешно. Единственный путь, который оставался открытым для нас, был поезд. Мы взяли билеты до Петрозаводска и приехали туда вечером. У Алика и Лены были командировочные удостоверения, и нам удалось переночевать в общежитии университета или пединститута.

Утром стало ясно, что день мы можем провести в Петрозаводске, но куда деваться ночью — непонятно. Мы ходили по городу, был Яблочный Спас, и святили яблоки; зашли было в церковь, но старушки неодобрительно фыркали на Ленины джинсы. Тогда мы сели на ракету и поплыли в (на?) Кижы. Там, походив по заповеднику, мы отправились в деревню и наконец нашли ночлег. Утром мы вернулись в Петрозаводск и провели там полдня, а под вечер снова сели на поезд, т. к. там можно было спать. В Подпорожье, однако, поезд приходил слишком рано, и, поскольку никакого жилья там у нас не предвиделось, мы вылезли на предыдущем полустанке и попробовали ночевать в стогу. Сколько-то времени мы в нем пролежали, даже, кажется, проспали какое-то недолгое время, но с восходом отправились снова на поезд. Кажется, быстро объехали поселения студентов, а может быть, даже и этого не стали делать, а отправились прямо на аэродром и полетели в Ленинград — в тот самый сравнительно недавно открытый аэропорт «Смольное», где за два с половиной месяца до нашего прилета были арестованы «самолетчики». Там летали тогда маленькие хилые самолетики (чуть ли не бипланы, хотя, кажется, этого быть уже не могло), с жутким грохотом, но, к счастью, без особой тряски (вспоминаю рассказы о более ранних временах, когда «гигиенические пакеты» в самолетах были насущной необходимостью). Когда мы долетели, оказалось, что Лена все время была уверена, что такое приспособление никуда долететь не может, и много раз прощалась с жизнью. Мои родители были на даче (это был последний год жизни моего отца), и Алик жил у меня (и мы дописывали упомянутую выше статью для Лотмановского сборника), а Лена у своей тетки Е.Г. Рабинович.

Осенью Алик приехал на стажировку в МАЭ (он был на последнем курсе), тогда начались его отношения с К.В. Чистовым, впоследствии его руководителем в аспирантуре. Он жил часть времени у меня, часть у В.В. Руденко, погибшего той же осенью в автомобильной катастрофе, под самый новый 1972 год. Мы вместе написали ему некролог, опубликованный в Тарту.⁸ Совсем недавно нам с Аликом пришлось вернуться к этому жанру и написать некролог Е.М. Мелетинскому.

⁸ *Е. Рабинович, Г. Левинтон, А. Байбури.* В.В. Руденко [Некролог] // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, с. 200—201. Подписи расставлены в порядке, противоположном алфавиту, потому что Лену в те до-феминистские времена, естественно, поставили первой, а себя Алик поставил последним, т. к. он был на месте в Тарту и отдавал текст в печать.

Мой текст явно начинает сползать к известной формуле («начал за здравие...»), поэтому хочу завершить его все-таки за здравие,⁹ во здравие, на здоровье! Мне (кольцевая композиция!) всегда трудно говорить об Алике, потому что в каких-то отношениях я недостаточно отделяю его от себя, а себя от него. Это свойство соавторства, единомыслия, наконец дружбы. Так что: поздравляю нас обоих, старик!

2. Однажды Байбурин

Однажды Байбурин, который, как известно, равнодушен к рыбной ловле — то есть настолько равнодушен, что, по слухам, в мрачные советские годы, будучи мэйнэссом в Кунсткамере, в обеденный перерыв регулярно бегал под Дворцовый мост (или на Дворцовый мост?) ловить рыбу с помощью принесенного из дома складного удилища, а также мормышек и мотыля (или чем там ее ловят). Так вот, однажды Байбурин загорелся идеей приучить к этому благородному делу и меня. На его тогдашней машине часа в четыре утра, вооружившись сапогами, бутербродами и удочками, мы поехали километров за сто от Питера на какое-то заветное озеро, на котором — «старик, такой клёв!» Приехали, накачали резиновую лодку, выгребли на середину заветного, закинули удочки. Шел сильный, холодный и ровный дождь. Мы просидели под дождем часа три. Ничего так и не клюнуло. Но когда мы ехали назад, Байбурин все равно сиял. Мне тогда показалось, что я что-то про него понял.

Однажды, году примерно в 1988-м, *Байбурин* пришел ко мне на работу (я тогда работал по соседству, в другом академическом институте) и с загадочным видом позвал меня на лестницу курить. «Старик, — сказал он, — мне такая идея в голову пришла!» — после чего рассказал идею. Идея была про ритуал: что он ничего не «отражает» и не «фиксирует» в реальном мире, а — и есть событие реального мира, и ничего другого, кроме этого ритуального действия, в мире не существует: свадебный ритуал и есть свадьба, похоронный и есть смерть, родильный — и есть рождение. (Я стараюсь отвлечься от более поздних наслоений, когда я прочел все это в книге «Ритуал в традиционной культуре», и передать идею так, как я ее запомнил по рассказу в курилке году примерно в 1988-м. Хотя это и трудно: недавно Костя Богданов сказал мне — мы почему-то заговорили о Байбурине, — что его бесит в его сверстниках-филологах какое-то убого-провинциальное нежелание признавать чужие научные заслуги. Ну вот, например, сказал он, все как-то забыли, что идею про ритуал придумал Байбурин, и

⁹ Нам ведь пришлось в этом году писать вместе и поздравительный текст — полпредисловия к сборнику в честь А.Ф. Белоусова, постоянного соседа Алика по общежитию.

катают ее, кто как хочет, как если бы это было самоочевидно и всем давно известно. А ведь он ее сам из головы выдумал, причем известно, когда и где опубликовано. Но нет: пожимают плечами и говорят: ну, это же очевидно, что тут такого? Но я все-таки стараюсь восстановить то, почти 20-летней давности ощущение.) Дальше случилось то, что знакомо любому ученому: мгновенное и яркое ощущение узнавания истины в сказанных кем-то или прочитанных у кого-то словах. Я страшно завелся, обрадовался и начал — вполне по-дилетантски — развивать перед автором последствия его идеи, как я ее понял. Байбурин курил, слушал, молчал, хмыкал, вставлял реплики. Скоро я иссяк — тогда Байбурин снова, тихо и медленно, пересказал мне все с самого начала. Тут до меня дошло, что кажется, до меня только теперь дошло и что, пожалуй, следует погодить высказываться и еще подумать. А Байбурин докурил, попрощался и ушел писать книгу, теперь знаменитую. Мне тогда показалось, что я что-то про него понял.

Однажды Байбурин пригласил меня к себе на дачу. Мы тогда уже были хорошо знакомы, но все больше по работе — то есть мы ходили друг к другу в гости, наши жены вполне уже подружились, но все равно, оставалось какое-то ощущение его, Байбурина, замкнутости, не полной что ли раскрытости (впрочем, полностью он не раскрывается, наверно, никогда). Мы приехали. У ворот нас встретил хозяин и повел показывать. Шесть соток, на них недостроенный дом. Грядка клубники, штабель досок, куча песка. Все как у всех. Но поразил меня хозяин: он был, как только он умеет, в какой-то затрапезе, но при этом чист, аккуратен и элегантен. Из заднего кармана джинсов у него торчала отвертка, из кармана рубашки — пачка сигарет. Он был спокоен, расслаблен и счастлив: он строил дом. Строил не спеша, аккуратно, подгоняя досочку к досочке, фанерку к фанерке, явно давно и точно уже построив все до последнего гвоздика в голове и теперь неторопливо приводя материальный мир в соответствие с идеальным замыслом. Все было чисто, точно и рационально продумано. Замысел был прекрасен, материальный мир потихоньку приближался к идеалу. Мастер был доволен: он был занят делом. Мне тогда показалось, что я что-то про него понял.

Однажды Байбурин задумал журнал. Было это в конце 91 или в начале 92 года — в те времена, когда все казалось возможно (да и было возможно). Не было только денег. Он позвал меня и еще нескольких таких же, в то время еще вполне молодых и уверенных, что все возможно. Откуда-то взялся спонсор (предприниматель почему-то из Петрозаводска), и мы стали делать *St. Petersburg Journal of Cultural Studies* — в этом журнале мы печатали переводы на английский статей, которые уже вышли по-русски и которые, как нам казалось, достойны быть переведены и прочитаны теми, кто по-русски не читает. Работа была адская: нужно было найти авторов.

найти переводчиков, найти англоязычного редактора, который бы превратил наш английский в настоящий... Нужно было все собрать, отредактировать, смакетировать, нарисовать обложку, найти типографию, напечатать и разослать по двум сотням адресов с призывом подписываться. Степень наивности всего предприятия с высоты сегодняшнего нашего опыта не поддается никакому описанию, особенно если вспомнить, что в 1992 году не существовало никакого способа перевести деньги за подписку из-за границы на счет журнала. Тем не менее первый номер мы сделали и пару десятков подписчиков собрали. В секторе общих проблем (так, кажется) в Кунсткамере было накрыто по поводу выхода в свет первого номера. После первых двух-трех тостов установилась пауза, и в этой паузе меня вдруг осенило: Боже, подумал я, ведь это журнал! ведь вот сегодня отпразднуем, а завтра нужно опять впрягаться и делать второй номер! и так теперь будет всегда! эта каторга же теперь на всю оставшуюся жизнь! В это время сидевший рядом Байбурин наклонился ко мне и тихо сказал мне на ухо: «Старик, ты-то хоть понимаешь, что теперь эта каторга — на всю оставшуюся жизнь?» Мне тогда показалось, что я что-то по нему понял.

Однажды Байбурин был назначен исполнять обязанности директора Кунсткамеры. Точного года не помню — в конце 80-х? в начале 90-х? — но было это, когда все кругом рушилось, и Академия наук тоже. Денег не было, институтские сотрудники разбежались кто куда — кто в бизнес, кто за границу, оставшимися нужно было как-то руководить, добывать хоть какую-то зарплату, причем вину за все беды при этом все привычно возлагали на директора. В общем, этакое правительство Гайдара, как его описывал сам Гайдар: самолет падает, нас пустили к штурвалу: выправим — поблагодарят и прогонят, не выправим — мы же и будем виноваты. Байбурин сел в директорское кресло и начал руководить. Было видно, что ему эта деятельность не нравится, что его тяготит необходимость принимать положенное по должности (а иногда и просто раболопное) подчеркнутое уважение подчиненных. Однако работал он так, как будто занимался этим всю жизнь — с таким же спокойствием, никогда не повышая голоса, с той же всем знакомой легкой улыбкой. Поразительна все-таки эта его способность никогда, ни при каких обстоятельствах не меняться, всегда — что на рыбалке под дождем, что на заседании, что в директорском кресле, что с пилой в руке — оставаться самим собой. Сидя у него в кабинете и глядя, как он прекрасен и неизменен на фоне резной дубовой мебели, я решил было, что что-то по нему понял.*

* Добавлю от себя как очевидец, работавший в это время в МАЭ: приближался какой-то еще актуальный советский праздник, а зарплату, как обычно в этот период, задерживали, и было видно, что надолго. Байбурин занял деньги у знакомого предпринимателя и выдал зарплату. Тогда я поверил в его административные способности (позднее проявившиеся в ЕУ). — Г.Л.

Однажды я позвонил *Байбурину* и позвал его на одно из первых собраний организационного комитета, который был создан для разработки концепции Европейского университета. Байбурин пришел, мы все, человек 12, уселись за стол, накрытый белой бумагой, и началось многочасовое и довольно хаотическое толковище: у каждого, естественно, было свое мнение по каждому вопросу, и каждый считал своим долгом подробно свое мнение обосновать — что, впрочем, никому не удавалось, поскольку остальные не могли дожидаться своей очереди и постоянно всех перебивали. Байбурин же сидел молча. И чем больше он молчал, тем безнадежнее мне казалась вся затея, тем глупее и беспомощнее — все выступавшие и все выступления. Я стал как-то вдруг видеть все происходящее его глазами; непонятно как, но вместо собственного мнения и отношения у меня вдруг появилось такое опосредованное байбуринское мнение обо всем происходящем, причем не очень лестное. Все выступали по очереди, а Байбурин молчал. Наконец председатель, будущий ректор-организатор Европейского университета, не выдержал и спросил: «Ну, а Вы, А.К., что об этом думаете?» Установилась тишина. И в тишине Байбурин сказал: «А что? По-моему, хорошая идея. Может получиться интересно». С этого дня он не пропустил ни одного заседания, сделал программу факультета этнологии, потом создал с нуля сам факультет, стал его первым деканом и фактически в одиночку в течение семи лет его тянул. Мне тогда показалось, что я что-то про него понял.

Однажды Байбурин задумал еще один журнал — *Антропологический форум*, и стал его главным редактором. Журнал получился на славу. Как он все это проделывает — не понимаю.

3

Однажды Байбурину исполнилось 60 лет. По каковому поводу нижеподписавшиеся, а также все авторы, перечисленные в Содержании, дарят ему эту книгу и желают ему many happy returns of the 5th day of September.

Н. Вахтин, Г. Левинтон
5 сентября 2007.

